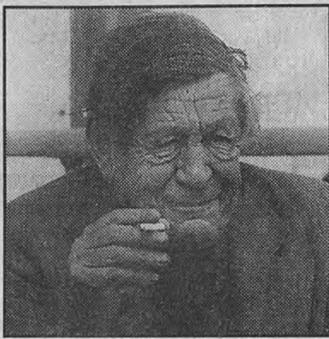


СТИХИ Иосифа Бродского



У. Х. Оден

От стихотворения требуются две вещи. Оно должно быть, во-первых, хорошо сработанным словесным объектом, делающим честь языку, на котором сочинено. И во-вторых, говорить что-то существенное о реальности, общей для всех, но увиденной собственными глазами. Поэт говорит то, чего прежде никогда не говорили, но как только он это произнес, читатели признают значимость сказанного лично для себя.

Конечно, по-настоящему точную оценку стихотворению как словесному объекту способен дать только тот, для кого язык автора — родной. Не зная русского, а потому поневоле опираясь на английские переводы, я могу лишь догадываться о стихах Иосифа Бродского. Однако переводы профессора Клайна, я убежден, верны оригиналу. И прежде всего потому, что с очевидностью доказывают: Бродский — редкий мастер своего дела. Скажем, в его «Большой элегии Джону Донну» слово «спят» употреблено, если я правильно посчитал, пятьдесят два раза. Легко представить, как быстро это повторение опротивело и оттолкнуло бы у другого автора, — здесь оно проведено безукоризненно.

По переводам опять-таки ясно, что Бродский владеет голосовыми регистрами от песенного («Рождественский романс») до элегического («На смерть Т. С. Элиота») и комически-гротескного («Два часа в резервуаре»), одинаково легко управляясь с самыми разными рифмами и размерами, строкой короткой и длинной, ямбом и анапестом и с клаузулой что мужской, что женской, как, например, в стихотворении «Прощайте, мадемуазель Вероника»:

Если кончу дни
под крылом голубки,
что вполне реально,
раз мясорубки
становятся роскошью
малых наций —
после множества комбинаций
Марс перемещается
ближе к пальмам;
а сам я мухи не трону
пальцем...

О неповторимости и вместе с тем универсальности поэтического зренья иностранцу судить как раз легче: эти качества напрямую не связаны с языком, на котором выражены.

Бродский — поэт нелегкий. Но даже бегло знакомясь с его стихами, видишь, что он — как Ван Гог, как Вирджиния Вулф — наделен исключительной способностью различать в физических предметах тайные знаки, отпечатки невидимого. Вот несколько примеров.

Но дом не хочет больше
пустовать.
И как бы за нехваткой
той отваги,
замок, не в состоянии
узнавать,

В 1973 году, когда New York Review of Books напечатал публикуемую ниже заметку в качестве врезки к нескольким стихотворениям Иосифа Бродского, их автору исполнилось тридцать три, и он опять стоял перед началом. Автор заметки — один из крупнейших поэтов XX века Уистен Хью Оден — был вдвое старше, сердце у него уже сдавало. Лицом к лицу они встретились недавно, в Лондоне (позже Бродский расскажет об этом в эссе к юбилею их общего друга, погодка и однокашника Одена, сэра Исая Берлина: «...огромной долей душевного здоровья я обязан людям одного поколения, оксфордскому выпуску примерно 1930 года»). Объем разделявших их лет, как и разница языков и литератур, в которых они работали, — вещь не абсолютная, но существенная.

Может быть, дело тут в том, что авторитетный пример — а они для такого поэта, как Бродский, важны невероятно — требует известной дистанции: задавая масштаб, она исключает нередкую и почти невольную в других, сверстнических или земляческих отношениях близорукость и

панибратство, зависимость или соперничество (тему «друзей» и «отцов» в сознании и судьбе ровесников Бродского сейчас обсуждать не буду). Оден, конечно, — об этом напомнил на днях Анатолий Найман, — из ключевых для Бродского фигур (другие — Ахматова, Монтале, Фрост — были, добавлю, еще как минимум поколением старше). Почему и значимость его отклика для младшего поэта, к тому же — изгнанника в чужой, новой для себя стране, думаю, понятна сама собой.

Через несколько месяцев их разделит еще одна, смертная, черта. А еще через четыре года Бродский снова побывает в Англии, в оденовских краях, и посвятит памяти ушедшего свой «Йорк»:

Вычитая из меньшего большее,
из человека — Время,
получаешь в остатке слова,
выделяющиеся на белом
фоне отчетливей, чем удается телом
это сделать при жизни,
даже сказав «лови».

Что источник любви превращает
в объект любви.

Сегодня — сорок дней смерти Бродского

один сопротивляется
во мраке.

(«Все чуждо...»)

Огонь, ты слышишь,
начал угасать.

А тени — по углам
зашевелились.

Уже нельзя в них
пальцем указать,

прикрикнуть, чтоб они
остановились.

(«Огонь...»)

Подушку обхватив, рука
сползает по столбам

отвесным,

вторгаясь в эти облака
своим косноязычным жестом.

О камень порванный чулок,
изогнутый впотмах,

как лебедь,

раструбом смотрит
в потолок,

как будто почерневший невод.
(«Загадка ангелу»)

Сухой спиной поворотись
к флюгарке

и зонты сложи,
как будто крылья — грач.

И только ручка выдаст
хвост пулярки.

(Einem alten
Architekten
in Rom)

Не то, чтобы
весна,

но вроде.
Разброд

и кривизна.

В разбросе
деревни —

все подряд
хромая.

Лишь полный
скуки взгляд —
прямая.

(«В распутицу»)

Расходясь с иными из своих современников, Бродский, насколько могу судить, стоит в стороне от, скажем так, «площадной» поэзии склада Маяковского. Фортиссимо — не в его характере. Но при всей оригинальности Бродского я бы тем не менее отнес поэта к традиционалистам.

Начать хотя бы с его глубокого уважения и любви к прошлому своей родины:

Вот так, по старой памяти,
собаки

на прежнем месте задирают
лапу.

Ограда снесена давным-давно,
но им, должно быть,

грезится ограда...
И что им этот

безобразный дом.

Для них тут садик,
говорят вам — садик.

А то, что очевидно для людей,
собакам совершенно

безразлично.
Вот это и зовут

«собачья верность».

И если довелось мне говорить
всерьез об эстафете поколений,
то верю только

в эту эстафету.
Вернее, в тех,

кто ощущает запах.
(«Остановка в пустыне»)

Традиционен он и в другом: его занимает то, что занимало едва ли не всех лириков во все

времена, — всегда неожиданные встречи с природой, трудами человеческих рук, любимыми или уважаемыми людьми и размышления о человеческом уделе, смерти и смысле жизни.

Его поэзия аполитична — может быть, даже вызывающе аполитична. Иначе не объяснишь начальственное неодобрение его стихов. Я не нашел в них ни одного пассажа, который самый беспощадный цензор считал бы «подрывом устоев» или «оскорблением морали». Вот, по-моему, единственные строки, в которых можно заподозрить какую-то «политику»:

Адье, утверждавший

«терять, ей-ей,
ничего, кроме своих ценностей».

И совести, если на то пошло.
(«Письмо в бутылке»)

Но с этим чувством согласился бы, думаю, и праверный марксист. Как ни один поэт не стал бы оспаривать такое художественное кредо:

Наверно, тем
искусство и берет,
что только

уточняет,
а не врет,

поскольку
основной
его закон,

бесспорно,
независимость

деталей.
(«Подсвечник»)

Прочитав переводы

Джорджа

Л. Клайна, я без малейших колебаний

заявляю, что Иосиф

Бродский должен

быть признан одним

из первых поэтов

русского языка, че-

ловеком, которым

его стране надлежит

гордиться. И тому, и другому — моя живейшая признательность.

Вступление
и перевод
с английского
Бориса ДУБИНА



АЛЕКСАНДР ДЕДУШИН